

Чему учит история?

(Автор текста пожелал сохранить инкогнито)

По образованию я географ, и в принципе не могу сказать, что знаю историю очень глубоко. Я копал скорее вширь, проработав множество историй довольно разных народов и стран. И когда перед моими глазами начали разворачиваться *исторические события*, я разумеется начал сравнивать историю прошедшую с историей идущей. Чему, собственно, она учит?

1. Она ничему не учит. Банальная фраза, но это так. Отдельные ни на что не влияющие люди могут понимать, что к чему, и если действие А испокон веков и при любых раскладах порождало следствие Б, то вот сейчас скорее всего всё будет так же. Но ещё ни разу ни народные массы, ни политиков не удерживало от каких-то действий осознание того, что это уже было и ничего хорошего из этого не вышло. И если даже отрицательный опыт истории не становится назиданием, что уж говорить о положительном?

2. Надо ещё потерпеть. Что такое 5 лет в исторической толще? Это мгновение, которое можно описать одной строчкой. Энско-эмская война (1756-61), строительство крепости М. (1341-1346), К-ское княжество (1622-27). А что такое 5 лет для нас? Половина 1990-х, вся Перестройка или в 2,5 раза больше, чем длится нынешний политический кризис. Если представить, что завтра Россия сольёт Донбасс и вернёт Крым господину, а я буду писать об этом из 2116 года, то весь "Крымнаш" уместится в одной фразе, вся Донбасская война - в паре предложений, а весь кризис - в 1-2 абзацах, если же я об этом писать из 3016 года, то скорее всего об этом не будет ни слова даже в контексте Крыма. Поэтому надо понимать, что 10-20 лет на решение какой-то геополитической проблемы - это немного, а 50-70 лет - это ну так, средненько.

3. Не надо думать, что всё обойдётся. Война реальна всегда и везде, и ни одно государство не застраховано от бесславной гибели. Если время унесло Римскую империю, тысячелетнюю Византию, Танский Китай, не пощадило ни мудрость Эллады, ни технологии средневекового Халифата, ни военную мощь кочевников Великой Степи, то что уж говорить про всё остальное? То же и с войнами: большинство из них начинались буквально "слово за слово", с неготовности по тем или иным причинам пойти на вменяемого масштаба уступку, и теоретически могли быть предотвращены. Поэтому где бы ты ни жил - в твой дом может рано или поздно прийти война, ошибки твоих правителей могут быть фатальны и аукнуться через полвека, а симптомы лёгкой простуды в государстве могут быстро перерасти в двустороннюю полную тяжёлую пневмонию. Да, это тоже важно - фатальная ошибка обычно не проявляется сразу, её последствия накапливаются медленно-медленно, и становятся видны обычно лишь через десятилетия, когда они уже стали непоправимыми

4. Нет добра и зла. В истории было крайне мало конфликтов, где можно было

бы чётко выделить Добро и Зло. В этом, я считаю, уникальность Второй Мировой войны - не только абсолютный масштаб, но и то, что на ней было самое настоящее Зло. А вот примеров Добра в реальной геополитике я вообще не могу припомнить, хотя бы потому, что в каждой самой справедливой освободительной войне найдётся немало таких изуверств, что волосы встанут дыбом, а кто-то непременно на ней наживётся. Бывают войны хищника с жертвой (например, колониальные захваты Нового Света), зачастую за своим ореол беззащитности скрывающей куда большую кровожадность и подлость, чем хищник. На многих войнах обе стороны считают себя обороняющимися, а противоборства крупных держав - это чаще всего банальные конфликты интересов. Можно говорить о конфликте правды и обмана, но и это не так: в большинстве конфликтов сталкиваются две правды, и именно так находит на камень коса. У красных не было больше правды, чем у белых, а у католиков - чем у протестантов, равно как и наоборот. Россия, Швеция и Речь Посполитая 17-18 веков не были благороднее и чище друг друга, всё решали исключительно объёмы производства металла и трудности логистики. Да даже не история, а наше время: вот ясноглазые американцы и европейцы в своём стремлении к борьбе с тираниями порождают на Ближнем Востоке кровавый кошмар, а уничтоженные ими омерзительные диктаторы предстают вдруг единственной силой, знавшей когда-то управу на ныне вылезшую жуть. Меня история учит тому, что наименее деструктивный подход в геополитике - прагматический, а влезание со своими благими идеями в системы, устройства которых не понимаешь, почти всегда оборачивается бедой.

5. А может, всё было не так? Тут возвращаемся к пункту 2 - когда такие гигантские объёмы информации спрессовываются в такие тонкие пласты, вряд ли даже академическая наука в состоянии узнать и тем более учесть всё, и всегда может затеряться какая-нибудь мелкая на взгляд человека далекого будущая деталь, которая поставит природу конфликта если не с ногу на голову, то под заметном другим углом.

6. Сложность и противоречивость мира. Все 5 пунктов выше друг другу (хотя бы одному из остальных) противоречат, и тем не менее сосуществуют.

И в целом, скажу прямо, мне история не помогает спать спокойно, и даже наоборот - весьма преумножает скорбь и страх.

Даниил ГРАНИН

ЧЕМУ УЧИТ ИСТОРИЯ...

Беседу вел Валентин ОСКОЦКИЙ

Совпало так, что диалог с Даниилом Граниным о новом романе «Вечера с Петром Великим» («Дружба народов», 2000 № 5—7; СПб., «Историческая иллюстрация», 2000) и вокруг него мы провели в обрамлении двух презентаций, вылившихся в широкое читательское обсуждение книги. Первая прошла в Российской национальной библиотеке, которая в разговорном питерском обиходе как была, так и осталась «публичкой». Вел презентацию главный редактор журнала «Нева» Борис Никольский.

— Необычайно актуальная книга, — подчеркнул он, открывая встречу. — О самом сегодня остром, злободневном и... печальном. Она повод для спора. И стимул к размышлениям — философским и историческим. О власти и человеке во власти. О личности в истории. О том, почему история оказывается несправедливой к тем или иным деятелям, возвеличивает одних и очерняет других

У петербуржцев свое отношение к Петру Первому, и роман о нем читается нами с особым пристрастием. И особым чувством признательности писателю, который приблизил к нам эту крупномасштабную фигуру.

Поддержав этот мотив, Даниил Гранин тоже начал с особого — петербургского — восприятия Петра. И предвосхитил этим мой завтрашний вопрос о том, какую роль в его писательском интересе к Петру сыграл город, где он, исключая раннее детство, прожил всю жизнь.

— У жителей Петербурга к Петру свое отношение и свое чувство. Я бы сказал: личное. Не просто как к основателю города. Здесь все проникнуто, пропитано Петром — и камень, и вода, и воздух. И как ни много сделала для города Екатерина II, она по существу воплощала то, что было предписано Петром. Конечно, моя петербургская биография обостряла мой интерес к Петру. Книгу о нем я мечтал написать давным-давно. Вопрос из зала. Роман писался лет десять?

Д. Гранин. Больше. Я над ним работал и не работал. Писал, бросал, начинал заново. И так несколько раз. Потому что не представлял себе, как это будет трудно. Главное было найти такую точку зрения, такой подход, чтобы писалось свободно. Я не имел права смотреть на своего героя снизу вверх. Но и писать, глядя сверху вниз, тоже не мог.

О Петре написано много и многими. Пушкин, Мережковский, Алексей Толстой... И десятки других историков, писателей то подступали к нему, то отступали. **Написанное другими меня не удовлетворяло. Не потому что плохо, а потому что не мое.** Я заставлял себя искать, вынашивал свой подход к Петру и его эпохе.

История — всегда версия. Тем более для писателя. Ведь она не просто заселена людьми — одушевлена ими. Их психологическими состояниями, настроениями, взглядами, моралью, нравственностью. Клубок противоречий, острых, зачастую драматичных. Потому и литература о Петре настолько противоречива. **Я убедился: у каждого свой Петр, и совместить их всех, свести в нечто единое попросту невозможно. Поэтому и я не могу становиться на чью-то одну точку зрения, не обретя своей.** Среди разных граней — военной, дипломатической, государственной — я нашел свое, отдельное, и, как мне казалось, то, что составляло **главное качество петровской личности: он — ученый, естествоиспытатель, инженер, знаток корабельного, строительного, токарного и множества других дел, человек технической сметки и хватки.** Это по-новому определяло многие поступки Петра, мотивы его поведения.

Еще один важный момент. Петр существует в нашем сознании как-то одиноко. Но он жил и действовал в живом окружении людей. Екатерина, Меншиков, Шереметев... Без них мы представляем себе Петра не таким, каким он был, и не так полно, как в реальной жизни. Его среда — близкие и чужие ему люди, соратники, сподвижники и недруги, противники знакомы нам меньше и хуже. Они помогают судить о Петре по законам т о г о в р е м е н и, а это для нас нынешних — самое главное. Стало быть, дойти до этих законов, понять, постичь их — вот задача, трудная и сложная, но важнейшая.

Говоря так, я имею в виду задачу писательскую, художественную. У историков, включая присутствующих здесь Германа Пихою и Даниила Аля, задачи научные, исследовательские. Но и они подходят к ним каждый по-своему.

Из зала. Какой памятник Петру — Фальконе или Карло Растрелли, Михаила Шемякина или Зураба Церетели — вам лично ближе?

Д. Гранин. «Медный всадник». Для меня он самый впечатляющий. И не как памятник, а как образ, который вмещает в себя не только Петра, но и Пушкина, да и весь Петербург.

Из зала. Уточню: вопрос не о том, чей памятник лучше, а какой наиболее полно отвечает вашему видению Петра?

Д. Гранин. Пожалуй, Фальконе... Сознаю: я в этом ответе пристрастен. Как и в отношении к Петру. Чем глубже я погружался в роман, тем больше мне нравился мой герой. Это не значит, что я готов во всем его оправдывать. Он натура сложная со своими контрастами и пороками. Он — удивительное создание природы, поражающее не просто объемом жизненных устремлений, но какой-то ненасытной жаждой жизни. В этом его сущность. Все у нас в России переполнено Петром, восходит к нему, начато, замыслено им, ведет от него свою родословную. Создание флота и шрифты типографские, первая газета, картофель и даже бильярд — всего не перечислить. Кажется, он прожил не 53 года, отпущенных ему судьбой, а сто или полтора. В нем бушевала, клочкотала, из него рвалась энергия воистину вулканическая.

Когда пишешь роман, тем более об исторически доподлинном деятеле, не избежать личностного к нему отношения. Увлеченность героем писателю во благо. Это неизбежно — это просто хорошо. И не препятствует, а помогает докопаться до противоречий характера, поступков, действий. Каждый человек — тайна. Если нет в герое романа тайны, значит, писатель еще не дошел до человека, о котором пишет. Когда заранее знаешь его мысли, слова и дела, понимаешь, почему он вел себя так, а не иначе, — появляется заданность, которая убивает интерес и авторский, и читательский. Противоречивость, непонятность личности — одно из проявлений тайны, которую и предстоит выявить писателю.

Удалось ли мне это? Далеко не всегда, но у меня есть ощущение, что Петр в романе — живой человек. Он мне видится сложной, спорной фигурой в истории России. Настолько сложной и спорной, что, оценивая его, мы не можем прийти к однозначному выводу, единому заключению. Исключая разве что один вывод и одно заключение: из всех русских правителей он фигура наиболее интересная...

Это выступление писателя положило начало задуманному диалогу, который состоялся в последующие дни.

— Подумать только: без малого четверть века прошло с той поры, когда мы сидели здесь же у вас дома и для тех же «Вопросов литературы» вели диалог о вашем творчестве, тогдашних замыслах, вашей писательской, как принято говорить, лаборатории. Диалог под заголовком «Кто-то должен идти на грозу» был вскоре напечатан в июльском за 1977 год номере журнала. Тогда на вашем письменном столе лежала еще не книга, но почти готовая к сдаче в производство рукопись «Блокадной

книги», которую я лично как в то время, так и сейчас называю в е л и к о й книгой о ленинградской блокаде. Помню, как нашу беседу то и дело прерывали и телефонные звонки блокадников, и визиты тех из них, кто хотел передать вам истершиеся документы прожитого и пережитого в те роковые 900 дней, и неожиданный приезд вашего соавтора по «Блокадной книге», которого вот уже несколько лет нет с нами, — Александра Адамовича.

Прошли годы, десятилетия. И журнал «Вопросы литературы», по предложению которого мы снова встречаемся для диалога, уже не тот, что прежде, и мы, собеседники, явно не те, да и страна, в которой оба живем, совсем не та. Если же говорить о писателе Данииле Гранине, прежнем и нынешнем, то, как представляется мне, критику, не однажды писавшему о вашем творчестве, вы сегодня не просто и не только писатель, создавший после «Блокадной книги» романы «Картина» и «Бегство в Россию», повесть «Зубр», другие повести и рассказы, философское эссе «Страх», но и авторитетный общественный деятель, к публицистическому слову которого прислушивается демократическая Россия. И вдруг вместо остропроблемных книг и публицистических статей, погруженных в то, что тревожит и болит, — исторический роман «Вечера с Петром Великим»!

О том, что замысел его маячит в вашем сознании, я впервые услышал еще в начале 80-х — на тупиковом исходе «развитого социализма». И признаюсь, положив руку на сердце, что допускал: в начале последующей перестройки и постперестроечного обустройства России вам будет уже не до Петровской эпохи. Оказалось, ошибался. Роман закончен, опубликован в журнале и книгой и, как показало вчерашнее обсуждение в «публичке», встречен не просто с естественным читательским любопытством, а с обостренным интересом и сосредоточенным вниманием. Стало быть, не так уж и «вдруг» он появился сегодня. Появился как раз вовремя для того, чтобы давняя история оказалась созвучной напряженной современности. И созвучной не внешними, как говорилось в главлитовскую бытность, «аллюзиями», а чем-то глубинным, сущностным. Не случайно же обитатели санатория, коротающие, благодаря учителю Молочкову, вечера с Петром Великим, так часто переключаются своими мимолетными вроде бы репликами с далекой истории то на не столь уж давнее советское прошлое, когда, например, кремлевский ареопаг заговорщицки свергал Хрущева, то на вздыбленное российское настоящее с его афганской болью и чеченской раной. Вот и выходит, что роман об историческом прошлом обращен к России теперешней, так тяжело вынашивающей, сказать бы — выстрадавающей, свой путь к демократии.

— В одном из первых после журнальной публикации «Вечеров...» интервью мне уже доводилось рассуждать о том, что наше время, как и петровское, ставит ту же дилемму: какой быть России? Становиться ли ей европейской страной, приобщенной к мировой цивилизации, или пребывать в «азиатчине»? Выходить на общечеловеческую дорогу или упиваться своей «особой миссией», продолжать искать нечто вроде «азиопы»? Триста лет назад Петр Первый пытался ответить на эти вопросы. И ответ его звучал куда как определенно: Россия только тогда сможет стать сильной, когда будет европейской, просвещенной. Отсюда и перекичка через века истории между тем, что происходит в романе, на чем он выстроен, и тем, как это воспринимается современным сознанием.

— Ответ что нож к горлу нынешним «патриотам» и национал-большевистского, и просто националистического толка, которые и по сию пору не прощают Петру как раз «окна в Европу». Но не о них сейчас речь, а снова о писателе Данииле Гранине. Ваша литературная судьба сложилась так, что одним из дебютов в ней стала историческая повесть о генерале Парижской Коммуны Ярославе Домбровском. И вот более полувека спустя — роман о Петре. Что это — возвращение «на круги своя» предопределенное вашим, в общем-то, неустанным интересом к истории, или обостренная временем потребность выразить историческое самосознание

современника, существенно обогатившееся к концу XX века?
Собственно истории в вашем творческом мире всегда находилось место, притом немалое: то ли вы ее не оставляли, то ли она вас. Это и «Размышления перед портретом, которого нет» — о русском физике Василии Петрове, и «Повесть об одном ученом и одном императоре» — о французском физике Араго, и «Два лика», «Священный дар» — о Пушкине, Достоевском. Но то небольшие по объему повести и «малая» эссеистская проза историко-философского плана. Чувство же истории эпично по своему содержанию и чаще всего требует самореализации не в новеллистической или эссеистской, а в большой романной форме. Замечу походя, что настаиваю на своем определении: не просто и не только знание, а именно *ч у в с т в о* истории. Историю недостаточно знать, ее важно уметь переживать нравственно и эстетически. Иначе и ее уроки не впрок.

— Погружения в историю не миновали многие писатели. На нашей памяти Юрий Трифонов, Юрий Давыдов, до них Алексей Толстой, а раньше всех Пушкин.

— *Владимира Тендрякова, которого вы вспоминаете с неизменным уважением к его таланту, история, похоже, не волновала. Он был писателем остросовременных тем и никаким другим.*

— Но это значит лишь, что у каждого свой путь. Я же говорю об одном из направлений поиска, каким идут не поголовно все, но многие.

— *Конкретизирую вопрос — возможно, спрямлю, даже огрублю. Есть ли различия в уровнях исторического сознания, закрепленного ранней повестью «Генерал Коммуны», и теперешним романом «Вечера с Петром Великим»?*

— Конечно. Когда писалась повесть, я был поглощен, завербован идеей интернационализма. Фигура Ярослава Домбровского, в которой сошлись Польша, Россия, Франция, казалась мне в этом смысле и символической, и поучительной. От поучительности в романе о Петре я ушел. Считается, что русская литература традиционно проповедническая и, значит, поучительность в ее природе. Думаю, что в этом ее не только сила, но и слабость.

— *Хрестоматийны слова Юрия Тынянова: как исторический романист писатель начинает там, где кончается документ. Ваши отношения с документом были иными? Для вас не прошла бесследно «Блокадная книга», где за пределы собственно документа вы не выходили и, комментируя его публицистически, не столько восполняли зафиксированные им факты, сколько обобщали их?*

— Что такое петровский документ? Я мало работал в архивах, но все-таки побывал в одном из московских, где хранятся документы Петровской эпохи. Взял приговор суда над царевичем Алексеем. Он известен, опубликован. Казалось бы, ничего нового я в нем не почерпнул. Но поразительно ощущение доподлинности бумаги, над которой часами сидел Петр, держал, как я сейчас, ее в руках, думал, мучился — подписать или не подписать?

— *Откуда вы знаете, что часами?*

— Оттуда, что вернул через день-полтора, так и не подписав. Нам, современникам, не могут быть известны сейчас, почти три века спустя, детали разыгравшейся драмы. Но возможность хотя бы прикоснуться к ней уникальна. Обратите внимание: книги о Петре, основанные на одних и тех же документах, — разные книги. Потому что документы Петровской эпохи достаточно противоречивы. Вот мы и имеем разного Петра — одного у Соловьева, другого у Ключевского, третьего у Валишевского, четвертого у Платонова.

— Но вам из этих разных Петров чей ближе?

— Мне ближе Валишевского.

— Почему?

— Потому что Валишевский никак не мог остановиться на какой-то одной оценке. То он видел Петра гением, то дикарем, то мудрецом, а то самодуром. То он восхищается Петром, а то поносит. И каждый раз удивляется.

— Это отвечает и вашему восприятию?

— Отвечает в том смысле, что я не хотел назидательных выводов и оценок, не хотел вести читателей к однозначным заключениям: это, мол, хорошо, а это, напротив, плохо.

— Но ваш рассказчик, учитель истории Молочков, ведущий вечера с Петром Великим, определенен, подчас категоричен.

— Тут мы расходимся. Мне ближе его частый оппонент — профессор Челюкин.

— Но оппозиция профессора — из стремления взвесить, соотнести «за» и «против».

— Он их не может сбалансировать. И я не могу. Плоская оценочность — не дело литературы. Да и науки тоже, коль скоро она, в своих, разумеется, пределах, допускает и признает разновариантные прочтения истории, ее событий и судеб. Вот и названные мною историки, как и множество других, включая современных «петровцев» — Николай Павленко, Евгения Анисимова, опирались на одни и те же документы, но истолковывали их по-разному. Поэтому я и не могу сказать о себе тыняновскими словами, будто начинал там, где кончается документ. Так было у Тынянова, но так не всегда бывает у каждого писателя.

— Но не к месту ли тогда здесь ваше давнее суждение о Дюма: не знаете, соблюдал ли он историческую правду, но правильно делал, если не соблюдал. Или ваш роман снова не тот случай?

— Совершенно не тот. Дюма — виртуоз сюжетно завлекательного повествования, и он был вправе не считаться с документально удостоверенными подробностями. Сюжетная интрига ему дороже.

С документом у каждого писателя в каждом произведении складываются особые, специфические отношения. Одним документ помогает, дает толчок фантазии, другим мешают, сковывает воображение. В ходе работы над «Вечерами...» я убедился, что нужно останавливать себя в привлечении все новых и новых документов, дабы не потонуть в материале, который они предлагают. И еще убедился в том, что не моя забота выбирать между Соловьевым или Ключевским, Валишевским или Платоновым, становиться приверженцем одного из них. В романе Петр не их, а мой Петр. Как и другие лица из петровского окружения в трудах ратных, печалях государственных или катаклизмах семейных.

— Вы имеете в виду Марию Кантемир, действующую в самой, пожалуй, драматичной главе романа, которая называется «Последняя любовь»? На мой читательский взгляд, действительно художественное открытие характера незаурядного, яркого, крупного. Не говорю уже о том, что многие, кто прочтет роман, узнают об этой драме Петра впервые. И впервые приобщатся к трагедии несчастной, в общем-то, женщины, чью судьбу искорежили не столько державные интересы трона, сколько пакости и интриги, какие змеились, клубились, плелись в обход императора, но в коридорах его вроде бы безраздельной власти.

— Однако и известное нам по историческим источникам и исследованиям о других людях вокруг Петра — таких, как Анна Монс, Виллим Монс, Екатерина, — это не совсем то, а иногда и совсем не то, что написано в романе. Возьмем Анну Монс — мимолетное, дескать, увлечение женщиной, которая была корыстной накопительницей драгоценностей, добивалась поместий и богатства. На самом же деле мне увиделось в этой истории иное — иная история чувств. И супружеская измена Екатерины с Виллимом Монсом тоже вышла не так, как обычно представляется.

Неудивительно: в реальной жизни человек многообразен. Возьмите себя или меня: в семье мы одни, друзья представляют нас другими. Так же и за рабочим столом, на собраниях, в литературной и общественной деятельности: все мы существуем в нескольких лицах. Каждая среда представляет себе человека по-своему, создает свой портрет, свой образ. Существует несколько портретов, несколько образов каждого человека. Так и с историческими прототипами героев, действующих в романе. Дать свой портрет Петра и лиц вокруг него — этого мне хотелось в первую очередь.

— *Но своего Петра вы передали учителю Молочкову, которого тот и воссоздает слушателям из рассказа в рассказ. У вас полное согласие, единодушие с этим персонажем?*

— Будем различать мое отношение и отношение рассказчика. Это принципиально. Молочков влюблен в Петра, а я им люблюсь. Это разное. Молочков знает Петра, а я им интересуюсь. Это тоже разное.

— *Но этот интерес допускал ваш писательский домысел в деталях, эпизодах, психологических коллизиях, самораскрытии характеров?*

— Конечно. Роман — не исторический очерк. Но и домысливая, я держался фактов, хотя понимал, что они противоречивы, как противоречивы и документы, которые их удостоверяют.

— *Противоречивы, а иногда лживы? Не всякий факт, даже удостоверенный документально, — правда, и не любая правда, как бы ни была она документирована, — истина...*

— И лживы... Как писатель я уходил туда, куда не ступала нога историка. И видел себя в совершенно неведомом Петре.

— *Наверное, все же не так: нога не раз ступала и до вас. Откуда же тогда столь частые в романе ссылки и на ученых, и особенно на Пушкина как историка?*

— Скажем так: хотел ступить туда, куда не ступала нога историка. Конечно, я не могу открывать в Петре все заново, — такая задача не по мне, да и вряд ли она вообще нужна и разумна. Я рассказывал своего Петра, попытался представить его личность — это совсем другое.

Петр существует чаще в двух противоположных ипостасях. Как бронзовый кумир с лавровым венцом победителя, триумфатора и как самодержец, шельмуемый, обличаемый, вызывающий возмущение и гнев. Одни славят, другие бранят. И между этими двумя крайними полюсами теряется, пропадает личность, человек перестает быть живым.

— *Если говорить о хуле, то Петру достается и от напористых «патриотов», и от взвинченных демократов. От первых за то, что и сам связался с тлетворным Западом, и привязал к нему Россию. От вторых — за лишения и бедствия, обрушенные на страну, за кровопролития и кровопускания, за кости, на которых строился Петербург. Так что достается от тех и других. За разное и по-разному, но достается. Вот и Алексей Баталов в недавней беседе в редакции «Общей газеты» мимоходом высказал взгляд на Петра, как бы обобщающий распространенные представления: «Я,*

конечно, понимаю, что во времена реформ никогда сразу ничего хорошего не было. И когда Петр Первый делал свою перестройку, то почти четверть населения погибла от жестких нововведений. Все было — и колокола переливали на пушки, и церковные дела контролировал какой-то военный господин, и кругом воровство, и рабский труд на великой стройке... Не правда ли, похоже на следующий рывок? Так что приходится признать, что перестройки у нас всегда шли тяжело».

Ни к рьяным демократам, ни тем паче к «зашиоренным» патриотам Алексей Баталов не принадлежит. Тем больше оснований услышать в его суждении отзвуки восприятия, доминирующего в нашем историческом самосознании. Ваш учитель истории, конечно, тут же бы ринулся в бой, незамедлительно оспорил бы любимого актера. А вы, романист? Ваша концепция стыкуется с таким пониманием Петра, оспаривает его или принимает, а если принимает, то полностью или частично?

— Но откуда Алексею Баталову известно о погибшей четверти населения? У меня нет документов, опровергающих такую цифру. Но и у него нет документальных подтверждений!

Многое в хвале и хуле Петра, в суждениях о нем и его оценках идет от исторических фальсификаций. Возьмем самое расхожее, что и вы только что повторили: Петербург возведен на костях строителей. Откуда это взялось? Документов, подтверждающих чрезмерную смертность среди строителей, не существует, никакого учета потерям не велось. Да, условия были тяжелые. Но у нас нет количественных данных, позволяющих сравнивать людские потери при строительстве Петербурга и, скажем, Петрозаводска или Таганрога. Иностранцы указывают на большую смертность в Петербурге, но никаких цифр мы не знаем.

Зато известно другое. И при строительстве флота на верфях в Воронеже, и в петербургском Адмиралтействе умели ценить специалистов — плотников, кузнецов, знатоков корабельной оснастки, парусов, канатов. Их ставили высоко, о них заботились. Так и Меншиков заботился о строителях Петербурга, и это входило в круг его губернаторских обязанностей. Специалистов не хватало, особенно тех, кто умел закладывать каменные здания, а в них особенно нуждалось массовое строительство из камня. По нынешним нашим меркам условия их труда выглядят крайне суровыми, но по меркам того времени они не более суровы, чем в других местах. Во всяком случае, эпидемий на строительстве Петербурга не было, хоть и жили скученно, в землянках. При строительстве Версаля погибло 15 тысяч человек. Это известно. Зато неизвестно, сколько жизней унесло, скажем, строительство Комсомольска-на-Амуре. Освоение необжитых мест всегда происходит в трудных условиях.

— *Комсомольск-на-Амуре строили не столько молодые энтузиасты, сколько заключенные...*

— Как и Беломор-канал...

— *Да и все другие великие стройки социализма и коммунизма — от Магнитогорска, Харьковского и Сталинградского тракторных до Воркуты, Норильска и Волго-Дона...*

— Но если говорить о романтике, то, хотя слова такого в ту пору не знали, романтика строительства новой России при Петре все-таки существовала. Люди понимали, что строят флот, какого в стране до сих пор не было, новую столицу — город, которого тоже не было. Какое-то воодушевление в умах и душах наверняка присутствовало.

— *Но вряд ли у самых низших социальных слоев.*

— А это спорно. Мне кажется, что, затеяв Северную войну, Петр знал, что надо России и за что он воюет. Знали это и генералы, и офицеры. От них такое понимание не могло не передаваться солдатам. Документально я этого не могу подтвердить, но подобное

ощущение у меня возникло. Война велась осмысленно — за выход к морю, за возвращение исконных русских земель. Вообще, действия Петра прозрачны, их понимали его соратники, их разделяла Россия. В этом заключалась его сила как правителя, этим объяснялись его успехи. Не хочется, но невольно подумаешь про Афган или Чечню...

— *Но в исторической науке бытует и такая точка зрения: создание флота и выход к морю, приобщение к европейской цивилизации, просвещение и образование — все вместе исподволь вызревающие потребности государственного развития. К осознанию их пришла бы и царевна Софья, удержи она за собой трон.*

— Возможно. Больше того: это и при Алексее Михайловиче вызревало. Но Петр дал всему мощный толчок, придал ускорение...

— *Простите, перебыю, обратившись к тексту романа. И заранее оговорюсь, что буду цитировать еще не раз. «...Отец Петра начинал реформы тихо, помаленьку. Петр же ворвался в русскую жизнь бурей, ломая и круша, произвел революцию, самую радикальную. Такого не бывало. Да, его называли нехристом, шептались, что царя подменили, кликуши кричали про антихриста, и все же до настоящего отторжения не доходило»...*

— Потому и не доходило, что преобразование России при Петре стало реализованной комплексной программой. Он не просто знал, что надо делать, но и как делать. Например, было ясно: Россия нуждается в просвещении. Однако поставить задачу — только начало дела, важно ее решить, отыскав пути решения. И Петр находит: он посылает в Европу десятки, сотни молодых людей — учиться корабельному делу и навигации, типографскому и градостроительному. Или — России нужен выход к морю. Таганрог открывал путь к Черному, Архангельск — в северные моря. Но Петр делает ставку на Балтику — через Петербург. Снова не просто понимание неотложной задачи, но и решение, которое он искал и сумел найти.

— *Но какой ценой? «Он появился как вулкан, из подземных сил, накопленных веками русской дремоты», — толкуют на «вечерах» с Петром собеседники из санатория. Но они же в другом месте, причем не все хором, а солирующий Молочков, который, как вы заметили, влюблен в Петра: «Петр действовал как молот, а народ был наковальней. Бесчувственно. Тупо». Даже он, прощающий кумиру все на свете, задумывается: «Почему народ вел себя так смиренно? Может, шло это от нашего прославленного терпения. Лошадиного терпения... Оттерпится, и мы люди будем». Или энергичное наше неприятие т а к о й цены — инерция оппозиционного сознания, которая укоренена, в частности, и «Железной дорогой» Некрасова: «А по бокам-то все косточки русские...»?*

— Но это тоже бездоказательно. Я говорил с учеными, изучавшими историю железных дорог в России. Некрасовский пафос вызывает их недоумение: откуда поэт взял живописуемые им ужасы? Скорее всего он выражал либеральное мнение разночинной интеллигенции, которая воевала с монархией, стояла в оппозиции к царизму. А кроме того, наша литература никогда не приветствовала промышленную революцию, не поддерживала капитализм, не славил деловых людей.

— *Исключая писателей второго, а то и третьего ряда... Но вернемся к «Вечерам...». В романе не однажды проводится мысль о том, что откаты от петровских реформ в России были, но поворота вспять не произошло даже при бироновщине. Следовательно, Россия приняла реформы Петра, и его преемники на русском троне их не отменили. А Екатерина II вообще повела страну по петровскому руслу.*

— Говорят, что Петр истощил Россию. Можно и так судить. Но куда важнее признать, что он воодушевил Россию. Высвобождение из цепких пут старины с энтузиазмом приняли русские женщины, молодежь. В их быт вошли европейские обычаи и ритуалы, наряды и

парики. Женщина стала дамой, мужчина — кавалером. Девушки не хотели больше сидеть взаперти в душных теремах, среди няnek и лампад. Юноши открывали для себя новые сферы деятельности. Это было освобождение, духовный переворот, нравственная революция...

— *Снова повторю ваши признания: вы любуетесь Петром, он вам интересен. Потому, наверное, если вы и дистанцируетесь от персонажа-рассказчика, то не настолько, чтобы не поддержать его самозабвенное желание понять и объяснить Петра, увидеть в нем скорее не деспота-самодержца, хотя от признания этого ему тоже не уйти, а личность трагическую, способную на глубокие переживания и страдания, принимающую на себя удары судьбы, которые вынуждают к жестокости, нередко теснимой природной человеческой добротой, да и по-житейски здравым смыслом. И тут, во всяком случае у меня, закрадывается шальная мысль. Пройдут десятилетия, и настанет время, отдаленное от нашей первой половины XX века двумя-тремя столетиями. И тогда, в конце ли XXII, в начале ли XXIII века какой-нибудь писатель, как вы сегодня — Петра, захочет понять и объяснить Гитлера или Сталина, увидеть под покровом их преступлений жизненные драмы, которые были и у того, и у другого: любовница отравилась... жена застрелилась...*

— Ну и что?

— *А то, что у меня от такого допущения мороз по коже...*

— Но понять и объяснить — нормальное, естественное желание писателя. Важно было бы и нам не просто назвать Сталина монстром, а разобраться, откуда такой монстр появился, как и почему сформировался.

— *Понять и объяснить — несомненно. Но не обелить, не оправдать ни суровым временем, ни величием цели, ни прочими благими намерениями. Тем паче — роковыми ударами личной судьбы... Впрочем, обуздывая свое воображение, утешаюсь тем, что и Калигула, и Нерон остались в истории и литературе теми, кем были, — насильниками, разрушителями, тиранами. И из возвышения Ивана Грозного наперекор прямым директивам ничего не вышло: литература, если не причислить к ней плохой роман-трилогию Костылева, так и не превратила сталинского любимца в положительного героя. Так что, пожалуй, и с возвышением Гитлера и Сталина ничего не выйдет: логика истории не позволит, материал воспротивится, как воспротивился в цветных кадрах разгула опричнины в фильме Эйзенштейна. Как бы ни рассуждали сегодня поклонники обоих диктаторов о том, что Гитлер прекратил безработицу, навел порядок в Германии, а Сталин создал могучую советскую империю, оба олицетворяли разрушительное начало истории. Иное дело — Петр: в его державной деятельности возобладало созидание. Так?*

— Сошлюсь на Чаадаева. Его суждение о Петре мне близко. Вот что при всем своем критицизме к России и российской истории писал он в «Апологии сумасшедшего»: «Я люблю мое отечество, как Петр Великий научил меня любить его. Мне чужд, признаюсь, этот блаженный патриотизм, этот патриотизм лени, который умудряется все видеть в розовом свете и носится со своими иллюзиями...» Примечательные эти слова о Петре как наставнике патриотизма идут сразу вслед за знаменитым чаадаевским признанием о том, что он не может и не умеет, «не научился любить свою родину с закрытыми глазами, со склоненной головой, с запертыми устами».

— *У вас на памяти Чаадаев, у меня — Герцен, полагавший, что «подлинную историю России открывает собой лишь 1812 год; все, что было до того, — только предисловие». Но ключевой фигурой «предисловия» он видел не кого-нибудь, а Петра Первого, которому посвятил отдельную главу книги «О развитии революционных идей в России». В ней Петр представлен как «смелый революционер, одаренный всесторонним гением и непреклонной*

волей». И хотя далее Герцен не избегает и слова «деспот», но тут же оговаривается: «...то был деспот наподобие Комитета общественного спасения».

— Чаадаев, как и Пушкин, а потом Герцен, как и другие великие деятели и мыслители, понимал, что Петр бывал жесток, даже страшен, но во имя чего? Он поступал жестоко и твердо не ради властолюбия и славы. Иное дело, если бы цели России были поняты им неправильно. Много наслоений привнесено в образ Петра, приписано ему. Но в них нет ни правды, ни истины. Сложность же постижения его в том, что мы должны судить о человеке в истории не только по контрастам личности, характера, натуры...

— Как подчеркнуто в романе — буйным контрастам колоритной личности, незаурядного характера, непредсказуемой натуры, то и дело опровергающих самих себя очередным поступком: «Петр совмещает в себе многих разных людей, каждый из них то появляется, то исчезает, и никак не выяснить, кто же главный».

— ...сложность и в том, что мы должны судить о человеке по законам его времени, а мы нороем судить по меркам нашего времени. Отчасти объяснимо. Погрузиться вглубь истории и понять логику эпохи почти трехсотлетней давности крайне трудно. Но нужно...

— Вы говорите сейчас почти слово в слово, как ваш рассказчик, который прямым текстом зовет к этому собеседников. «Самое трудное в исторической науке — понять человека другой эпохи», — наставляет он. И внушает в другой раз: «...самое трудное для историка погрузиться в психологию той эпохи, понять мотивы поступков людей, допустим, петровского времени».

— Тут я с Молочковым согласен... Сошлюсь для наглядности на Карла XII. Просвещенный король, правивший одной из ведущих европейских держав. Казня приближенного за измену, повелел посадить его на кол. Офицер, видя мучения несчастного, сжалился и отсек ему голову. И поплатился за свою сердобольность тем, что был разжалован. Скажете: жестоко?

— Скажу.

— Но такая жестокость в духе того времени, она его привычная норма. Потому и не считает никто, будто Карл отличался какой-то зверской жестокостью. А нам называют Петра жестоким! Мы мирились с тем, что миллионы наших сограждан расстреляны, высланы, обречены на гибель в ГУЛАГе! Обвинять в жестокости Петра легче. И успокоительней для совести. Но не нам рассуждать об этом...

— Почему же не нам? По-моему, нам-то как раз и пристало рассуждать. Именно потому, что знаем и помним о том, за что, не без вашей авторской подсказки, учитель Молочков укоряет поколение нынешних дедов, которых «уже не понимают» их внуки: «Как мы могли мириться с концлагерями, с репрессиями и славить при этом личность Сталина?» Как немцам Освенцим, так нам ГУЛАГ дает высокие точки отсчета и для суждений о многовековом прошлом в мировой ли, отечественной ли истории. Трагедийное знание гитлеровских или сталинских преступлений против человечности делает нас особенно чувствительными к жестокости, обязывает не прощать ее ни себе нынешним, ни далеким предкам.

— Несравнимые вещи! Уж мы-то тем более должны понимать, где начинается жестокость и чем она кончается.

— Но понимание, к которому вы призываете, не снимает вопроса о петровской цене прогресса, как не освобождает от ответа и на более емкий вопрос: так ли уж история обречена на то, чтобы жестокость неотлучно сопутствовала ей, становилась обратной стороной ее поступательного движения?

— Почему вы так настойчиво педалируете слово «жестокость»? Что имеете в виду конкретно, применительно к Петру?

— *Диктат. Насилие.*

— Например?

— *Казнь Монса хотя бы.*

— Пример не очень удачный. Тогда казнили, отсекая голову, и это считалось гуманной казнью. В случае же с Монсом действовала ревность, жгучая, невыносимая. Чувство извечное, оправданное. Время жестокое было? Насильно сбривать бороды жестоко? Но это купило себя. Решение не столько жестокое, сколько резкое и твердое.

— *Значит, стремление ускорить прогресс волевым усилием оправдывает ограничения свободы? И не только духовной свободы, но и повседневного поведения в быту? А между тем, «не раскаиваясь ни в чем», уже покушавшийся на Петра и прощенный им Кикин, сначала денщик, потом адмиралтейский советник, так объясняет у вас в романе, что побудило его «употребить ум свой в толикое зло» и снова пренебречь явленной ему монаршей милостью: «Ум любит простор, а от тебя было ему тесно».*

— Вы хотите, чтобы я делал выводы на все времена?

— *Пусть не на все — лишь в этом случае.*

— Я не судия, судия — читатель. Но в петровской практике многое себя оправдало. Хотя не все.

Скажем, европейские образцы, какие он наблюдал и переносил в Россию. Они — результат многовековой эволюции. Петру же не хотелось ждать. Можно осуждать его за нетерпение, но надо считаться и с теми достижениями, благами, какие обрела Россия. Обрела импульсы для развития промышленности, опыт в строительстве городов, создании собственного флота и новой армии, в общении с Европой. Иностранцы перестали казаться пугалом, люди стали ездить за границу. Статуи появились...

— *Летний сад в Петербурге, которому посвящена в романе отдельная глава...*

— И сам Петербург с его набережными, впервые ставшими — это еще Дмитрий Сергеевич Лихачев отметил — парадной частью города. Весь дворцовый Петербург обращен к Неве. Большинство же городов в Западной Европе стоят спиной к реке.

— *Сопоставляю: Рейн не входит в пейзаж ни Кельна, ни Бонна. Но Париж не спиной к Сене.*

— Современный Париж, после Османа. А до него тоже спиной, как и Лондон. Москва же только на нашей памяти развернулась лицом к Москве-реке.

— *Но зато Петербург повернут спиной к морю, и морских набережных в городе нет.*

— А при Петре порт был в устье Невы. К морю же повернут Петергоф, появившийся одновременно с Петербургом. Сейчас нам трудно вообразить, что все это значило — дворцы, фонтаны, каскады, огненные представления, фейерверки. Волшебное зрелище. Но если угодно, тоже насилие над устоявшимся сознанием, традициями быта, вековыми привычками.

— *Петр не хотел ждать, ему не терпелось... Но история — вспомним роман Юрия Трифонова — знает н е т е р- п е н и е, которое оборачивалось кровопролитными трагедиями. Народовольцами оно тоже двигало: скорей, скорей, скорей освободить народ от ярма деспотизма. Где критерий нетерпения оправданного?*

— Вы ждете от меня оценок, выводов? Их нет. Для нас сегодня очевидно то, что было ясно Достоевскому: убийство царя — преступление. Помните его «нет» в разговоре с Сувориным? Доносить на заговорщиков-террористов он не пошел бы, но террора не принимал. И мы не принимаем. Террор не оправдал себя ни в каком виде, он безнравственен. А вот о деятельности Петра я бы так не рискнул сказать. Да, были жестокости. Но это жестокости характера, а не мировоззрения. Он обращался с людьми тиранически, по-хамски, мог себе позволить избить человека — и таких эпизодов в романе немало, — устраивал недопустимые потехи, хмельные оргии. Но это характер. Образцом воспитанного, благонаправленного монарха он не был.

— *И тем не менее одну из глав романа вы озаглавили не как-нибудь, а «Жесточь». И начали ее строкой: «Да, был жесток, отрицать незачем».*

— Но эта глава, как и другие, — спор.

— *С кем и против чего?*

— Наверное, с теми, кто безапелляционно считает: Петр Первый — тиран и деспот. Неразборчиво относимся мы к таким определениям...

В духовной истории Петра, в становлении его характера мне хотелось показать, откуда его жестокость и нетерпимость по отношению к стрельцам. Ведь это главный аргумент обвинения! Я пытался представить себе, как десятилетний мальчик видит страшные сцены стрельцкого бунта, когда его родных бросают на пики, разрывают на части. Он видит кровь, мясо, зверство обезумевшей толпы, которая истребляет его родню. Поразительно, как он вообще не тронулся тогда умом. Страх, ужас, ненависть отпечатались в его подсознании навсегда.

— *«Добрая жизнелюбивая натура мальчика надломилась, стрельцкий топор расщепил задуманное творцом чудо...»*

— Второе. Думаю мы обязаны соотносить себя с историей. Прошло три столетия русской жизни, наполненной неустанной работой добра, которую совершали литература, искусство, религия. Но все равно мы сегодня выступаем в непривлекательной роли жестоких людей. Пример на виду — Чечня. И тем не менее позволяем себе пенять на жестокость петровского времени. Не лицемерие ли это? Условно можно сопоставить Чечню и стрельцов.

— *Очень условное сопоставление...*

— Да, конечно. Бунт стрельцов совершался дважды, но был событием единовременным. Чечня — действие, растянувшееся на несколько лет. Тысячи людей погибли...

— *Пока что не знаем, но когда-нибудь непременно узнаем, сколько тысяч. Хотелось бы надеяться, что ждать обнародования правдивой цифры придется не так долго, как ждали оглашения 15 тысяч афганских потерь...*

— Другой мотив и адрес спора: с теми, кто винит Петра за смерть царевича Алексея. Недавно показали исторический фильм, в котором Алексей выведен носителем русской идеи, чуждой и враждебной Петру. Думаю, однако, что перед императором-отцом, обрекавшим на казнь наследника-сына, — а мне хотелось вникнуть в его душевное состояние, — эта проблема стояла не так идеологизированно. Петр понимал ответственность перед историей и перед Богом — ведь был человеком религиозным — за жизнь Алексея, в котором хотел видеть, но не видел достойного преемника. Ведь что-что, а истинные масштабы своих деяний как деяний исторических он осознавал. И вовсе не был безразличен к тому, каким он останется в истории. Не хотел, чтобы его наследие расплылось на ветрах, пошло в прах.

По исторической аналогии сопоставляю с трагедией, какую пережил Марк Аврелий. Император-философ, символ гуманного, мудрого, добродетельного правителя. Перед ним тоже стоял выбор: передать правление сыну Коммоду, заранее зная, что ничего путного из этого не получится, или не передавать? Он не позволил себе преступить закон престолонаследия и передал власть сыну, которого все 12 лет его правления римляне проклинали. Куда б ни шло — за личное распутство. Проклинали за разор империи, за жертвы и кровь.

— *Так сбылось пророческое опасение отца: взойдя на императорский трон, «беспутный и жестокий» сын станет вторым Калигулой и «из презренного превратится в страшного».*

— Дочь Марка Аврелия, сестра Коммода, попыталась взять на себя искупление отцовского греха: организовала заговор, чтобы устранить Коммода. Не получилось. Но в конце концов дошло до нового заговора, в результате которого недостойный сын достойного отца погиб от рук самых близких ему людей.

Два императора — два решения, два последствия. Петра укоряют, Марка Аврелия превозносят. Но мучительный вопрос остается: прав ли был законопослушный правитель, отдавая судьбу империи наследнику, который погубил его государственные начинания, переступил через его гуманные заветы, изменил его делу? Не тогда, когда писал роман, а сейчас, в ходе нашего разговора, я вдруг подумал: Петру этот пример был известен.

— *И значит, подсознательно диктовал линию поведения?*

— Во всяком случае, Петр его анализировал...

Наконец, полемика с распространенным мнением о том, что Петр был фанатичным западником, навязывал русской жизни европейские образцы. Но если пристальней взглядеться в окружение Петра, то в большинстве своем это русские люди. Были среди них Остерман, Миних, Шафилов, привлечение их свидетельствует о широте петровских взглядов на «кадровый вопрос», но все остальные — русская знать. Или «находки» Петра, таланты которых он находил, высматривал вокруг себя в других слоях общества. Петр неоднократно подчеркивал: со временем Запад станет России не нужен, научившись у Запада, она сама начнет учить других.

— *Ну, а полемика литературная, оспаривающая иные писательские толкования Петра и его эпохи? Полемика с «антихристовой» концепцией Мережковского, акцентировавшего в Петре «языческое» начало, по-моему, угадывается явственно. С Алексеем Толстым спорить вам вроде бы не о чем, но я, читатель, улавливаю подспудную полемику и с ним тоже.*

— В чем?

— *В том, что вы видите и живописуете Петра земным. И, отмечая исключительность его ума и воли, не ставите на котурны опоэтизированного державного властелина. У Толстого они растут по мере того, как Петр начальных глав первой книги превращается во второй и особенно в незавершенной третьей в Петра Алексеевича.*

— Трудно сказать. Роман Алексея Толстого я читал в юности. Во время же работы над своим романом боялся перечитывать. Он талантливый писатель, и я не хотел, чтобы он на меня давил своим талантом, вынуждал вступать в соревнование. Соревноваться с ним не входило в мои намерения. Поэтому я не вступал с Алексеем Толстым ни в какие контакты, и полемики с ним у меня нет.

— *Преднамеренной. Но подсознательно — стою на том — полемизировали. Однако не буду углубляться в эту тему, перейду к другой. В перспективе послепетровского*

движения отечественной и мировой истории — XVIII, XIX, XX века — вы находите личности, чьи масштабы соотносимы с масштабами Петра?

— Наполеон.

— *Что до меня, то вижу Наполеона таким, каким он предстает в книге Манфреда. В высоких взлетах и крутых падениях. Помимо всего, этот труд ученого помог мне понять, почему литература так и не смогла сделать из Наполеона злодея. Даже у Толстого в «Войне и мире» при всем негативизме авторского отношения — эгоцентричен, себялюбив, тщеславен, мстителен, но не злодей.*

— А почему не злодей? Потому что гуманная составляющая романа сильнее всего. Французов Лев Толстой видел такими же жертвами войны, как русских солдат. У него нет ненависти к французам как к оккупантам, он не призывает уничтожать их. Пьер Безухов страдает французам, а это не позволяет и Наполеона выводить злодеем. Так Толстой опередил всю нашу военную прозу советских лет. Гордясь и оправданно упиваясь ею, мы не замечаем, как она противоречит толстовскому пониманию войны и противника на войне.

— *Прорывы к этому были у Виктора Некрасова. Есть они и у Василя Быкова.*

— У Льва Толстого не прорывы, а целостная система концептуальных воззрений на войну и человека на войне. Она не только в «Войне и мире», но и в «Хаджи-Мурате». Я думал об этом, когда писал «Вечера...». В романе нет батальных сцен Северной войны, но, касаясь ее, я отмечал для себя разительное отличие петровской войны от нынешних войн в XX веке. Насколько она более рыцарская, без повальных зверств, всепожирающей ненависти.

— *В нашем разговоре не раз — и это закономерно — всплывала Чечня. Я не представляю, где искать выход из нынешней туго закрученной ситуации, но, понимая, что история обратных ходов не имеет, одно знаю твердо: не надо было начинать первую чеченскую войну. Полвека войны в прошлом столетии должны бы предостеречь от опрометчивого шага. В чем одна из завязок Кавказской войны в XIX веке? В удачном походе Ермолова — «Смирись, Кавказ! Идет Ермолов!» — в горы, в результате которого он усмирил воинственные аулы. Усмирить-то усмирил, но следом началась война, которая длилась 50 лет.*

— И что?

— *А это к вопросу об уроках истории. Учит она хоть чему-нибудь или ничему не учит? Если бы люди, на плечах которых лежала ответственность за начало первой чеченской войны, вспомнили драматичный опыт XIX века, это, возможно, удержало бы их, охладило горячие головы, остудило шапказакидательский пыл.*

— Они и не могли вспомнить. Потому что та война за покорение Кавказа была представлена в ложном свете. Как освобождение горцев, которым русская армия несла цивилизацию. Не война, а приобщение диких, варварских народов к культуре. Это была ложь.

— *Причем на коротких ногах. Достаточно было толстовских «Набега» или «Рубки леса», чтобы она не устояла под напором правды. Но мы снова отошли от Петра и романа о нем, хотя многого существенного пока что не коснулись. Например, поэтики повествования: как сделан роман, как была найдена его форма?*

— Самое трудное для меня было — совладать с обилием материала. Как его организовать, чтобы ближе подойти к личности? Где искать такой подход? Можно было строить романский сюжет вокруг Петра, загонять его в какую-то фабулу...

— *Например, в фабулу последней любви.*

— ...Но мне была интересна полемика внутри романа — между собеседниками, коротающими санаторные вечера. Возможно, не получилось, как изначально хотелось. Некоторые меня упрекают: собеседники недостаточно выразительны, индивидуальны. Но я опасался заслонить ими Петра.

— *Сюжетное обрамление повествования — вечерние беседы о Петре — нескрываяемо условно. Оно и не должно претендовать на достоверность, доподлинность, а значит, и обстоятельную выписанность каждого из собеседников.*

— Справедливо. Это в конце концов игра: романная форма — всегда условность.

— *Она долго искалась? И как нашлась? Мотив вечеров был задуман до того, как начали писать, или пришел произвольно, в ходе работы?*

— Наверное, до. Иначе бы не справился.

— *С обилием материала?*

— Не знал бы, как его организовать. Как я уже говорил, боялся назидательности. Вольное же обсуждение давало выход. Но имело и свои недостатки. Я не мог позволить себе уходить далеко в сторону. Иначе рассказчика осадил бы: ишь, заболтался. Многие интересные мотивы поэтому в роман не вошли.

Так, не включил в роман моряков, матросов, которых до Петра в России не было. Почему он любил мореходов, тянулся к ним, благоволил? Они бывали в других странах, наблюдали другие порядки, другой образ жизни. Он видел в них раскрепощенных людей, если угодно — просвещенных.

— *По-нашему, казенно говоря, — «человеческий фактор»!*

— ...который мог растормошить Россию. Не от царя шел этот стимул, а от матросов, которых он видел сначала в Архангельске, потом в Голландии. Море воспитывало людей по-особому, не так, как на суше. Сухопутный человек получал от моряков иную ментальность, мир для него расширялся. Это было бы интересно показать, благо имелись подтверждающие примеры.

Когда роман опрокидываешь, окунаешь в историю, она расплавляет выстроенную форму. История настолько разнообразна, что приходится сдерживать в себе искушение вводить новые и новые сюжеты, новых и новых героев. Так, я не ввел, например, генерала Репнина.

— *«И Брюс, и Боур, и Репнин...»*

— Но то Полтавская битва. А до нее, в 1706 году, Репнин совершал в бою глупость за глупостью. Петр приказал его судить. Судили, приговорили к смерти. Петр приговора не утвердил, объяснил: сам-де виноват, доверив высокое командование человеку, который оказался неспособным командовать. Обошлось разжалованием. Но в первом ряду солдат бывший генерал, проявив храбрость, отличился. Вскоре его восстановили сначала в офицерском звании, потом в генеральском. Разве не удивительная судьба красавца, блестящего светского человека? И сколько любопытных загадок, которые увлекательно разгадать, докопавшись до сути! Что было в падениях и взлетах Репнина — слепая фортуна, ввергающая в хаос случайностей, или он поумнел, похаживая в солдатской шинели? Что определяло отношение к нему Петра, который спас генерала от смерти, взяв

на себя его вину? Само по себе это отдельный, самостоятельный рассказ, который я вынужденно исключил из романа.

То же и другие судьбы вокруг Петра. Толпы судеб! И все настолько сюжетны и захватывающи, что по праву хотели получить выход в романе, побуждали о них размышлять. Но я отсекал их...

— *Радзинский бы не отсек...*

— Пример Радзинского меня не вдохновляет. Мало нравятся мне его передачи.

— *Демонстративной конъюнктурностью? Нескрываемым расчетом на популизм?*

— И этим, и погоней за сенсациями. Он портит зрителей, приучает смаковать историю как ожидание сенсации. Следя за его передачами, они все время ждут сенсаций.

— *Не знаю, как вам, но мне легче смириться с профессиональными передачами Радзинского, чем с дилетантским многотомием Пикуля. Его полное собрание сочинений, тиражируемое и рекламируемое сейчас, — свод не исторических романов, а адюльтерных скабрёзностей, которые подсмотрены в замочные скважины вельможных опочивален и размалеваны на низкопробном словесном уровне, типа «блудно вступил в мерзкое прелюбодеяние». Но не о маломогущих художественно апокрифах на темы истории речь, а об историческом романе как явлении искусства. Поэтому прибегну к достойным аналогиям.*

Ближайшая — «Бестселлер» Юрия Давыдова. Вы оба, независимо друг от друга, пришли к сходной форме повествования: нет строгого романного сюжета, хронологически последовательного действия, обстоятельного жизнеописания героев, скрупулезного бытописания их среды и т. п., восходящего к канонической традиции. Но найдена форма раскованного романа-раздумья, нестесненного романа-размышления, открывающая простор внесюжетным отвлечениям в сторону. В этой свободе художественной мысли, не скованной выстроенным сюжетом характеров и обстоятельств, угадывается ее осознанный выход к философии истории. Обострившейся потребности в ней сродни не столько внешнее изображение, сколько глубинное, по законам подводной части айсберга, постижение человека, ввергнутого в бурный круговорот исторических событий, извлечение сокрытого смысла этих событий, потаенной логики их внутренних связей, сцеплений, притяжений и отталкиваний. Отсюда ассоциативное соединение разновременных пластов не в хронологической последовательности сюжетного действия, а в самоорганизованном потоке авторского сознания, сопрягающего — в вашем случае — петровское время и XX век.

— Что же, Петровская эпоха побуждает ставить ключевые вопросы, связанные со всей последующей историей России, ролью личности в ней, возможностью изменять векторы движения. Заставляет размышлять о том, насколько она отличается от эпох Екатерины II, Александра I, Николая I, Александра II, как воздействовала на их и другие царствования. Не случайно же и Сталин пожелал однажды высказаться о Петре. И высказался — доподлинно — по-своему: не дорубил Петруша! С его точки зрения, он был недостаточно жесток.

— *Как и Иван Грозный, непростительно отдававший силы и время замаливанию грехов, вместо того чтобы истреблять бояр безостановочно...*

— А взаимоотношения Петра с церковью? Тоже актуальная проблема для России...

Философия же истории — сложная задача, которая непременно встает перед историческим романистом. Но пусть она возникает сама по себе. Не думаю, что Пушкин задавался ею, когда создавал «Медного всадника». Это мы извлекаем ее из поэмы, и такая

возможность открывать в образной системе произведения новые смыслы всего дороже. «Медный всадник» с этой точки зрения неисчерпаем.

— *Наконец-то мы вплотную подошли к Пушкину! Мое невольное восклицание задано пушкиноведческими работами писателя, профессора Калифорнийского университета Юрия Дружникова. Один из сквозных их мотивов — мировоззренческая эволюция Пушкина в сторону великодержавного государственничества. В таком русле рассматривается и петровская тема в пушкинском наследии. Подтекст формулы «Петр — Пушкин», по мысли автора, следует читать как «Николай — Пушкин».*

— Ну, зачем так чернить Пушкина, превращать его в подхалима? Он великолепный историк не только в осмыслении фактического материала, но и в прозрениях, интуитивном понимании истории. Перед ним первым открылись петровские архивы, и он добросовестно изучал документы. Изучал как специалист. Мне кажется, я уверен, что он пропитался ощущением того времени.

— *Но пушкинская «История Петра», полагает Дружников, никакая не история. Всего лишь выписки, неупорядоченные, хаотичные. «Историю Петра» из них сделал не Пушкин, — ее создали пушкиноведы.*

— Это замечание не берет в расчет, что и как отбирал, выписывал Пушкин. А выбор как раз был. Был метод, и в нем можно увидеть замысел. Нельзя подходить к Пушкину, как к студенту, который конспектирует учебник или лекцию. Меня поражает точность выбора того, что целенаправленно интересовало Пушкина. А отбор фактов — это не просто выписки, не только заготовки впрок.

— *Но для чего? Для обоснования собственной родословной, ради чего поэт выдавал своего африканского предка не за того, кем тот был в действительности, и живописал не таким, каким видали его современники? Да и близость Ганнибала Петру сильно преувеличена.*

— Не знаю. Но не думаю, что Пушкин предпринял огромный многолетний труд ради тщеславных амбиций. Ведь Петр многократно проходит через его творчество, и мы видим, как рано возник у него интерес к Петру, понимаем, что чувство поэта постоянно.

— *Снова на подходе некогда модное слово «аллюзии». «Вечера...» — роман достаточно серьезный, чтобы обойтись без них, неизбежных в пору беспредела цензуры, ее диктата и своеволия. Но иные поведенческие стереотипы у героев романа подсказывают аналогии, не всегда косвенные, подчас прямые. Вплоть до погони за миллионными капиталами, появления всесильных олигархов, притязающих на власть или близость к ней, борьбы компроматов между соперничающими кланами в петровское и наше время. Такие параллели в ваш замысел вряд ли входили. Но они возникают. Откуда?*

— Когда писал о Меншикове, когда прочел его для себя, передо мной возник мысленно... Чубайс. Несомненный талант работника, хозяйственника, организатора. И в то же время с присущим ему размахом может урвать себе баснословный гонорар. Да, сопоставления появляются. Но не до, а после завершения романа. И отражают извечную суету, возню вокруг престола, власти. Я искал в окружении Петра честных, бескорыстных бесребреников, но так и не смог найти. Может быть, они были, наверное были, но я не нашел. И мне казалось, что все были больны.

— *Но общие симптомы недуга порождают сходные модели поведения?*

— Да, нету примеров высокой добродетели. Поэтому Петр в романе одинок, один страдает и любит. И являет собой исключение среди не только знати вокруг него, но и монархов своего времени. Каждый из современных ему властителей чем-то наслаждался.

Людовик XIV — абсолютной властью и жизнью, Карл XII — войной, польский король Август — женщинами и утолением тщеславия. Петр наслажденцем не был. И еще одно примечательное его качество — он первый и последний русский император. Алексей Михайлович императором не стал, а после Петра в родословной престолонаследников русская линия смешалась с немецкой и другими.

— *Петра вы могли написать и в конце 70-х — начале 80-х годов, когда задумали роман. Но это был бы другой Петр и другая философия истории. Видимо, потрясения 90-х годов стимулировали ваше нынешнее вторжение в историю, обострили внимание к поворотным рубежам в судьбе России?*

— Конечно. Это опять к вопросу о том, учит ли нас история. Учит, если она не подтасована, непрерывно учит. Как и события последних лет нас многому научили.

— *Но и стимулировали искус утилитарных уподоблений Петру сначала Горбачева, потом Ельцина, теперь Путина.*

— Фигура Петра — знаковая для России. Своего рода мерка — и положительная, и отрицательная. Еще мы соизмеряем нынешних политических лидеров с Александром II как реформатором. Но он не был наделен сильным характером.

— *А Михаил Сергеевич, на ваш взгляд, тянет на сопоставление с Петром?*

— Сопоставлять можно всё и всех. Горбачев немало сделал, но мог сделать больше. Ему не хватало воли и ясного понимания, что нужно России.

— *Несла волна событий?*

— Я не решился бы так сказать. Он противостоял партийному аппарату.

— *Но ему не дано было предвидеть, что идея социализма с человеческим лицом обернется отказом от социализма, который отторгает человеческое лицо по природным законам тканевой несовместимости.*

— Однако партийному аппарату он противостоял. И потому нельзя заключить, будто он просто плыл по течению.

Мы недооцениваем гениальности Петра, который, повторю, знал, что и как надо делать. Мы же не знаем, как нам быть с Чечней, не представляем себе ясных целей ближайшей жизни. Сводим все к экономическим благам. Но что нужно России кроме них? Какое ее место в мире? Что она может сказать и что может дать? Петр все это каким-то образом угадывал.

— *И это — тот главный урок истории, который вы донесли романом, подчеркнув в ответах читателям на презентации, что хотели бы видеть российскую власть сильной и крепкой?*

— Урок — не знаю. Скорее хотелось побудить к размышлению...

Работа над текстом этого диалога только-только начиналась, как пришло приглашение приехать на читательскую конференцию по роману. Она готовилась в Санкт-Петербургском гуманитарном университете профсоюзов при участии Конгресса интеллигенции Российской Федерации, который от Москвы представляли С. Филатов, Ю. Черниченко, Л. Лазарев, А. Турков, А. Гелейн.

Читательскую конференцию, массовую и по преимуществу — тем было интереснее — молодежную, вел ректор университета, доктор культурологических наук, профессор А. Запесоцкий.

Первый час был отдан Даниилу Гранину, отвечавшему на вопросы, какие обрушил на него многолюдный зал. Второй и третий — читательским выступлениям. И вопросы, и выступления показали: роман «Вечера с Петром Великим» не просто прочитан, но активно принят как приметное явление литературной жизни, в общем-то, не богатой значительными событиями. Появление же гранинского романа единодушно воспринималось именно как крупное событие, свидетельствующее о нескудеющем духовном и творческом потенциале истинной прозы.

Острый, проблемный разговор шел вокруг того же, чему посвящен и диалог. О содержании и форме романа, изображенной в нем Петровской эпохе и образе самого Петра, исторической памяти современников, их знании и чувстве истории, цене прогресса, духовной свободе личности, гуманизме и демократии. Одним словом, опять же об уроках истории, извлекаемых или не извлекаемых сегодня.

«Считается, что история учит тому, что она ничему не учит, — размышлял Даниил Гранин. — Совершенно точно, если касательно нашей истории. То, что нам преподносили, менялось от правителя к правителю. Приспосабливалось под конъюнктуру и действительно ничему не могло научить. Приблизительное, поверхностное верхоглядство притязало на постижение правды, которая оказывалась социологически однозначной. И это касалось не только фальсификаций советской истории, но и спрямлений, упрощений всей отечественной — допетровской, петровской, послепетровской. Без основательного погружения вглубь у истории не научишься, нерасторжимой связи времен не разглядишь и никаких уроков не извлечешь...»

Слушая писателя и его многочисленных читателей, обсуждавших роман, я возвращался мысленно к нашему диалогу, который предстояло готовить к публикации. Опасался: не слишком ли много в нем отвлечений и от романа, и от выведенного в нем Петра, и от воссозданной Петровской эпохи. Конференция убеждала: такие отвлечения закономерны, потому что предрешены содержанием, опрокинутым, разомкнутым и в послепетровскую историю России, и в наш XX век, вплоть до завершающих его последних лет. Наверное, в этом и состоит художественное своеобразие «Вечеров с Петром Великим» как романа раздумий, властно втягивающих читательскую мысль в свою орбиту...

Октябрь—декабрь 2000 года

Санкт-Петербург—Москва